

Мария Ануфриева

Медведь

Серия «Самое время!»

Роман «Медведь» — дебютная книга Марии Ануфриевой, уже нашедшая отклики в литературной среде: «От прозы Марии Ануфриевой невозможно оторваться. Это очень страшно, потому что очень точно и очень правдиво. Но ужас не раздавливает, а мобилизует, потому что автор настоящий художник» (Александр Мелихов). Счастливая жизнь героев книги перевернулась в один миг. Он пошел на встречу с друзьями и не вернулся. Она искала его и нашла в реанимации без сознания. Ее домом становится белый больничный коридор, где она день за днем ждет выхода врачей, просит о чуде и пытается распутать клубок трагических событий, о которых он не может ей рассказать. Эта история никого не оставит равнодушным.

ЧАСТЬ 1

НЕ БЫВАЕТ АТЕИСТОВ

Белый коридор. Железные стулья. Большое окно почти до пола. В обычной жизни они не значат ничего — коридор, стулья да окно, что в них примечательного.

В замкнутом белом больничном мирке они могут превратиться в целую Вселенную. Кроме коридора, стульев и окна в ней нет ничего материального. Есть только ожидание, и бессилие, и надежда на врачей, и вера в чудо, и тошнота, и головокружение, и тревога. Они вызывают дрожь в груди, бьющуюся невидимой птицей. Взмахнет крыльями — и заходит ходуном все внутри, притаится — и тут же все окаменеет и замрет вместе с ней в ожидании: что там, за раскрытыми дверями, где ровный свет, кислый запах, долгое беззвучие и внезапный грохот каталок, разрывающий тишину.

Но на тишине с кислым запахом нельзя остановить взгляд, нельзя к ней прикоснуться, чтобы почувствовать реальность и не полететь в пропасть безумия, которая раскрывается под ногами, когда в одну секунду рушится твой мир. Коридор, стулья да окно ощутимы, за них можно ухватиться, сделать своими союзниками и выстроить вокруг себя Вселенную.

Моя больничная Вселенная не расширялась и была не бесконечна, но в ней билась жизнь — самое главное, самое ценное, что может быть у человека.

Это было не первое и не последнее мое утро здесь. Сотрудница в окошке справочной службы, сверившись с пухлой разлинованной тетрадкой, уже ворчливо сказала мне ставшую привычной фразу:

— Жив, жив, но состояние крайне тяжелое, кома третьей степени, температура 37,7.

На словах «крайне тяжелое» ее голос приобретал немного другую, скорбную окраску. Это профессиональное, выработанное годами, иногда она сопровождала слова сокрушенным покачиванием головы.

Я мечтала о том, что однажды подойду, назову имя, а она скажет:

— Стабильно тяжелое.

И это будет праздник! Ведь, оказывается, между тяжелым и крайне тяжелым состоянием — целая пропасть. Тяжелое состояние — это победа.

Потом все как обычно. Я выходила из холла первого этажа, где располагалась справочная, на улицу. Шестнадцать этажей серого монолитного здания больницы сливались с таким же серым небом, а с него медленно и беззвучно падали большие серые хлопья снега, покрывая маленький больничный двор. Больница, небо и снег были единым целым — крайне тяжелым.

Чуть дальше шумела оживленная городская улица, кипела цветная жизнь, но я не собиралась покидать это серо-белое больничное царство и выходила для того лишь, чтобы снова войти. Пересекая двор, смотрела налево: вот он, мой коридор возле дверей реанимации, куда надо попасть. Рано утром дальше окошка справочной с центрального входа в больницу не пускают, но по одному из пандусов можно подняться в приемный покой и попытаться проникнуть внутрь.

Надо очень быстро, по-деловому, не оглядываясь, пройти мимо охраны, на всякий случай делая вид, что разговариваешь по телефону. Если окликнут, сказать: «У меня родственник к вам поступил, оформляется тут, в приемном, сейчас найду его, отдам документы и выйду». Затем быстро затеряться в белых коридорах и вновь занять свое место на холодном подоконнике в большой больнице.

Даже не подоконник это был, а бетонный выступ огромного больничного окна, очень низко, почти у пола. Рядом стояли сетчатые железные стулья, иногда я пересаживалась на один из них, но на подоконнике было удобнее. Сидя на стуле, трудно прятать лицо от проходящих мимо по коридору, надо куда-то смотреть: на людей, в пол или в стену. А я не знала, куда деть глаза, я хотела их просто закрыть. Пересев на низкий выступ, можно было отвернуться к окну и остаться наедине с собой и с ним.

Все эти дни я разговаривала с ним, рассказывала о том, что сижу рядом, в белом коридоре, куда отлучалась и что удалось узнать, ведь сам он наверняка даже не понял, что случилось за пару секунд, перевернувших жизнь: свет фар, удар и темнота.

Все эти дни я просила об одном:

— Не умирай, Медведь!

Ведь говорят же, что мысль материальна. Может быть, в этом есть доля правды. Может быть, пока ты говоришь с человеком, он и живет, борется, цепляется за жизнь вопреки всему.

Временами я раскачивалась из стороны в сторону. Как младенец успокаивается и затихает на руках качающей его

матери, так горящий человек, раскачивая сам себя, подчиняется усыпляющей силе размеренных движений, которые притупляют боль. Он словно сам становится маятником. Разве у маятника могут быть навязчивые мысли, страх, горе? Он просто маятник, существующий для того, чтобы качаться, качаться, качаться — ровно, бесперебойно. Маятник не может сойти с ума...

Только не разжимать ладонь, ни на минуту, ни в коем случае нельзя было этого делать!

В ладони — икона Ксении Блаженной. Я ходила с ней днем, научившись все делать одной свободной рукой. Ночью спала, положив руку с иконой под подушку, боясь во сне разжать ладонь и выпустить ее, прервав свою непрерывную мольбу Богу вернуть его. Временами со всей силы сжимала икону, чтобы ее ребристые деревянные края как можно больнее впечатывались, врезались в ладонь. Когда становилось совсем больно, и на коже появлялись кровоподтеки, я представляла его забинтованную голову на больничной подушке, собирала боль в один луч и мысленно направляла его туда, в реанимацию.

— Реакция на боль минимальная, — сообщали врачи.

Я делала больно себе, чтобы передать эту физическую боль ему — на расстоянии, может, он почувствует ее как разряд, как сигнал к действию: еще, еще немного напрягись, преодолей свое полубытие, ты еще можешь вернуться.

Если бы хоть день возратить из прошлой, вчерашней жизни. Да какой там день, хоть час, хоть десять минут! Чтобы сказать, как я его люблю.

Не в холодную, враждебную пустоту палаты увитому трубками человеку под белой простыней. А ему — в футбольной форме на стадионе, за рулем машины, вернувшемуся поздно вечером с работы. Ему, Медведю.

— Не умирай, ты сильный, я верю в тебя. Только не умирай, Медведь!

Есть люди, будто наделенные внешними и внутренними чертами животных. Бывает, увидишь впервые человека и тут же понимаешь: вылитый лис, настоящий волчара, этот — осторожный барсук, ну а вот — благородный лев.

Друзья с детства звали его Медведем. Я настолько свыклась с этим прозвищем, что и сама так его называла.

Откуда оно появилось? Он и впрямь был похож на медведя — спокойный, неторопливый, основательный. Спортсмен, на футбольном поле быстрый и, как принято говорить, резкий, но как только заканчивалась игра, тут же превращался в

добродушного увальня. Разозлить его сложно, но если уж справишься с этой задачей — несдобровать. Потом он всегда остывал и начинал виновато урчать. Именно урчать, другого слова и не подберешь:

— Машенька, прости.

Когда он шел на попятную и начинал урчать, тут уж можно было просить все что хочешь.

Я пользовалась этой мягкостью его характера и просила все, что мне угодно, не угодно и просто пришло в голову сию минуту.

Когда, предъявив паспорт, я получила в казенном окошке его обручальное кольцо, все в засохшей крови, я попросила:

— Не умирай, Медведь, ты ведь не можешь умереть, правда? Ты ведь выжил. Все говорят, что здесь хорошие врачи, они спасут тебя. И Бог — он не может от нас отвернуться. Держись, не умирай. Ты только не умирай, Медведь!

Я надела на палец кольцо и посмотрела на руку — два обручальных кольца, одно над другим. Тут же почувствовала, что под ногами у меня пропасть и безумие.

Надо собраться, отключить эмоции. Выяснить, что с ним произошло. Попасть в палату. Увидеть. Постоять рядом. Вырвать у смерти.

Плохое всегда случается мгновенно, но и мгновения бывают разные. Когда падаешь сам, в какие-то доли секунды еще успеваешь удивиться, огорчиться, осознать факт падения и даже, возможно, сгруппироваться, смягчая удар. Когда опрокидывает, швыряет наземь, оглушает взрывная волна, у тебя нет и доли секунды, чтобы осознать, что происходит.

Такой взрывной волной стало для меня случившееся с ним. Мгновенность крайней, самой последней степени.

Только что все было — и мечты, и планы, и Машенька, прости, и вопрос: куда поедем летом — днем, а вечером он встретился с друзьями и просто не вернулся домой.

В окошке, где выдают вещи и документы попавших в больницу скорой помощи, я расписывалась в получении ошметков счастья и благополучия. Расписывалась и не могла поверить, что белый коридор и табличка над дверью «Хирургическая реанимация» — наяву. И я здесь — тоже наяву. И что мне делать с этой явью?

Но что-то делать надо, чтобы вернуть его, заслужить его, получить его. Обратно. Живого!

— Ты только не умирай, Медведь!

Можно ли дать определение человеку одним словом,

исчерпывающе, до дна?

В средней школе на уроках литературы, потрясая стопкой разлинованных тетрадок в зеленых обложках, учитель ругала не отличающихся богатством словарного запаса учеников: «Что, опять фантазии не хватило? Сто раз вам повторять надо: нельзя называть героя в сочинении хорошим! Ведь что такое — хороший? Это ничего! Мама у вас дома хорошая, а у героя Михаила Юрьевича Лермонтова много других характеристик. Еще раз прочитаю про “хорошего” — выше тройки в четверти не получите!»

Я на всю жизнь запомнила, что слово «хороший» не применимо к литературным героям, хотя сложностей с прилагательными у меня никогда не было.

Потом начались студенческие годы.

— Представьте, что вы едете в трамвае, а напротив вас сел человек. Опишите его, во всех деталях, в мельчайших черточках его характера, которые не должны ускользнуть от вас. Только избегайте штампов вроде «хороший», — говорил преподаватель.

А дальше была работа, когда я писала, писала и писала за других, и всегда избегала в описаниях человеческих свойств слова «хороший». Это было не сложно, я ведь знала очень много слов, отвечающих на вопрос: какой?

Прошло время, и я узнала, что хороший — это и есть то главное слово, которое дает нам исчерпывающее представление о человеке. Хороший — это больше, чем добрый, смелый, справедливый, благородный. Хороший — это все, но не ничего. И множество слов не заменит простого, но не пустого слова — хороший.

Я поняла это, когда встретила Медведя. Он оказался очень хорошим.

Впервые я увидела его возле станции метро «Горьковская». Он стоял в стороне от толпы, воротник пальто был поднят. Стоял, нахохлившись, улыбаясь и краснея. Когда он смущался, у него всегда проступал румянец, а смущался он часто.

Кончик моего шарфа то и дело касался рукава его пальто, потому что с Невы дул сильный ветер. Желтые листья покрывали Александровский парк.

Мы пошли в кафе, чтобы обсудить дело, которое и стало причиной встречи: надо вычитать его диссертацию и автореферат на предмет синтаксических ошибок и стилистических неточностей. До сих пор не могу понять, зачем это потребовалось, — писал он грамотно. Наверное, по-

настоящему образованные люди не могут позволить себе быть асами в одном и неряхами в другом.

Я с рвением взялась за дело и, за неимением существенных ошибок, поправила несущественные. Позже выяснилось, что последние и не ошибки вовсе, а профессионализмы. Корявые, но тем не менее правильные.

— Ничего страшного, Машенька, — урчал он в трубку. — Не переживай. Ну ты же не могла знать.

Потом мы опять встретились, я смотрела на его крепкие руки и чувствовала, что меня ждет что-то большое. Я всегда это чувствую.

Не обладая такими полезными в жизни качествами, как женское кокетство и мудрость, я вывалила все, что было на душе:

— Мне уже двадцать семь лет, и куда уходит время, непонятно. Семьи нет, жилья своего нет, детей нет, а так хочется. И ничего я не умею, кроме как буквы в слова складывать, да и то сомнительное это умение. Таких умельцев и без меня хватает.

Он слушал, кивал и говорил, что все непременно будет: и дом, и семья, и ребенок:

— Все будет хорошо, Машенька.

Через три месяца после знакомства с Медведем мне позвонила бабуля, у которой я была прописана в области, и сказала, что надо либо выписываться, несмотря на заплаченные деньги, либо платить втрое больше за год, и вообще в качестве бонуса ей нужно сорок килограммов картошки, потому что она больна и не может выйти из дома.

— Не проще ли деньгами? — спросил Медведь.

— Нет, сказано же картошкой, деньги и так, само собой разумеется, — уныло отвечала я.

Мы купили картошку и поехали по Московскому шоссе.

Бабуля встретила нас жизнеутверждающим румянцем, фуфайкой нараспашку и двумя ведрами воды, только что лихо поднятыми из колодца.

— Приехали? Картошечку привезли? Ну вот и ладненько, вот и молодцы. А ты, милочка, симпатичная такая, с Украины, что ли?

На лице Медведя заиграли желваки, а я ответила, что нет, не с Украины. Впрочем, никакой разницы нет: если ты из города — столицы Карелии, что в семи часах езды, и живешь в Петербурге почти десять лет, для некоторых коренных петербуржцев ты все равно лимита, второй сорт, даже если сами они давно живут в деревне.

— А мальчик твой что, не хочет ли на тебе жениться? Или не нужна ты ему, без жилья-то? — не унималась бабуля.

Назвав на прощание сумму, которую я должна ей за прописку на год, она радостно помахала нам вслед.

Попрощались мы ненадолго, деваться-то мне все равно было некуда.

— Почему ты не можешь прописаться в центре, там, где живешь? — спросил он по дороге.

— Потому что это не мое жилье. Оно не приватизировано, а я не родственница хозяйке.

Мы ехали обратно по Московскому шоссе, я вспомнила слова бабули, совершенно невероятную сумму сверх заплаченного за год, поняла, что я действительно второй сорт, ведь у меня нет своего жилья, и разревелась от обиды.

Я плакала и ненавидела его за то, что он едет и молчит, за то, что он первый сорт. Вышла из машины, хлопнув дверью и не обернувшись.

На следующий день он позвонил и как ни в чем не бывало сказал:

— Что у тебя с настроением? Все будет хорошо, Машенька. Кстати, у тебя есть знакомые агенты по недвижимости?

Он взял кредит на работе и все накопленное на новую машину. Цены в тот год росли каждый день, на квартиру не хватало, но о квартире я и не мечтала.

Через несколько месяцев вместо новой машины себе он купил комнату мне и сказал:

— Езжай в паспортный стол и выписывайся от бабки. Это твое жилье.

Узнав новости, бабуля присвистнула. Затем сообщила, что она первоклассный маляр и вполне может побелить у меня потолок, и вообще — нет ли на примете других толковых девок не с Украины, чтоб платили за десять лет вперед, а выписывались пулей через год.

Потом Медведь дал мне семью и привел в свой дом, но до сих пор, читая женские откровения о самых разных дорогих и нужных подарках, я всегда думаю о том, что нет важнее подарка, чем купленная для тебя комната в коммуналке. Это был самый щедрый, самый своевременный и самый человечный подарок в моей жизни.

Я знала, что над его поступком посмеивались многие знакомые, и понимала, что хоть де-юре я перестала быть вторым сортом, но де-факто продолжала им оставаться. Если у тебя нет медали, подтверждающей рождение в любимом

городе, и ты не ходил в школу с тремя цифрами в номере, для некоторых людей ты навсегда останешься вторым сортом, тут уж ничего не попишешь. Это так же невозможно изменить, как святую уверенность в том, что белые ночи — природное явление, случающееся раз в год только в Петербурге, и больше нигде нет белых ночей. Выехал из Санкт-Петербурга — закончились белые ночи. Я видела немало таких людей, и удивилась, встретив Медведя.

Свой стержень и свое понимание правильных и неправильных поступков помогали ему не замечать насмешек, хотя, наверное, не защищали от них. Он всегда прислушивался к чужому мнению, но оно никогда не становилось безоговорочно его мнением, не пройдя через многоступенчатые фильтры очистки истинных ценностей от ложных, потому что он был *хорошим*.

— Не умирай, Медведь, ты только держись!

Может ли время идти вспять? Если оно способно остановиться и замереть, превратившись в безвременье, то, быть может, и путь назад заложен в его часовой механизм. Просто мы не знаем, как заставить стрелки крутиться в обратном направлении, отменяя уже свершившиеся события человеческой жизни.

Еще так недавно, но уже так давно, в совсем другой счастливой жизни душным августовским вечером мы ехали из карельского городка Сортавала, то и дело останавливаясь, чтобы искупаться в озерах, которые попадались по дороге.

После одной из таких остановок он едва успел разогнаться, как чертыхнулся и резко остановился, правой рукой держась за руль, а левой от чего-то отмахиваясь. В машину с водительской стороны залетело, заползло или даже вскочило большое мерзкое насекомое и не придумало ничего лучше, чем опустить свое невесомое тельце прямо на руль. Я заверещала дурным голосом и в панике выскочила на обочину.

Оказалось, это во время стоянки случайно запрыгнул большой прозрачно-зеленый кузнечик. Не разобравшись, Медведь первым инстинктивным движением щелкнул по нему и почти раздавил.

— Выкинь эту тварь из машины, только не бери его руками, а то я никогда больше не дотронусь до тебя! — кричала я.

— Это же кузнечик! — он изменился в лице. — Кузнечик! Вот я дурак! Зачем я его убил?

— Затем, что нечего в машину соваться! Не переживай,

значит, судьба его такая, — бодро утешила я. — Тоже мне, горе, тут этих стрекочущих чудовищ триллион скачет! Молодец, что прибил.

— Да я же не специально, не понял! Они и зла никому не причиняют. Эх, зачем же я его убил!

Кузнечик — вернее, то, что от него осталось, — дергался у ног Медведя в лужице белой жидкости.

— Надо добить его, чтобы не мучился, — чуть не плача сказал он, побледнев сквозь загар.

Не стал давить ногой. Под моим испепеляющим взглядом сгреб останки невезучего насекомого салфеткой и выкинул в придорожную канаву.

Поехали дальше, но настроение у него упало. Я посмеялась над ним, предложив устроить траур по кузнечику, но он не поддержал. Молчали.

Медведь молчал — видимо, жалел жителя зеленых лужаек и то и дело подавленно вздыхал. Я тоже молчала — думала: «Боже мой, что это за человек такой. Нет, мне, конечно, очень повезло, он добрый и заботливый. Но ведь нельзя же всерьез расстраиваться из-за случайно приклепнутого кузнечика. Нельзя быть таким хорошим человеком. Это нереально, несовместимо с жизнью. Надо избавляться от этой доброты, открытости, распахнутости миру, а по сути — детского восприятия действительности. В жизни это ни к чему хорошему не приведет. Тут таким не место, тут такие не задерживаются».

Он сосредоточенно смотрел на дорогу и категорически не хотел улыбнуться происшествию с кузнечиком, а я тайком поглядывала на него, и сердце у меня сжималось от нежности и досады одновременно. Я всегда хотела, чтобы он был как все — хуже, чем есть. Для его же блага. Пыталась переделать, но не могла: всегда натыкалась на внутренний стержень. При всей мягкости характера его было не согнуть.

Тогда я не могла предположить, что человеческая жизнь, по сути, мало чем отличается от жизни кузнечика. Ты весело и беззаботно скачешь по полям и лужайкам — работа, дом, магазины, рестораны. Рядом с тобой скачут такие же хрупкие беззаботные кузнечики. Каждый по своим любимым лужайкам. Никому и в голову не приходит, что стоит зазеваться или оказаться не в то время не в том месте и не с теми кузнечиками, и — бабах, ты раздавлен чьим-то мощным щелчком и в судорогах корчишься на асфальте. С той лишь разницей, что жидкость из тебя вытекает не белая, а красная, образуя «пятно бурого цвета диаметром 0,5 на 0,3 метра».

И кто-то так же, походя, скажет:

— Сам виноват, судьба его такая.

— Естественный отбор, — простучит на клавиатуре другой и весело щелкнет клавишей, зовя на монитор следующую историю из хроники происшествий за минувшие сутки.

А ведомства, отвечающие за порядок на лужайках, безопасность движения по тропинкам между ними и сохранность жизни кузнечиков, отмахнутся от приключившегося несчастья, будто не родственники кузнечика к ним пришли за помощью, а назойливые мухи влетели в форточку.

Еще так недавно, но уже так давно я наивно полагала, что человеческая жизнь чего-то да стоит. Возможно, за тридевять земель, в тридесятом царстве, заморском государстве на далеких полянах за высоким бугром так и есть, а на родных лужайках стоит она не больше, чем жизнь кузнечика, выброшенного в придорожную канаву.

— Но мы сильные, мы справимся. Правда, Медведь? Ты только не умирай!

Из воспоминаний меня вернул в действительность телефонный звонок. В эти дни мне много звонили, и всякий раз голоса в трубке тихо и с опаской спрашивали: не потревожили? И непременно извинялись. Но вопреки этим опасениям я была рада каждому звонившему. Как только раздавался звонок телефона, я понимала, что не одна, а еще — что не потеряла его.

Никогда не была Машей-растеряшей, но почему-то сама мысль о возможной потере телефона превратилась для меня в навязчивую идею. Потерятелефонофобию.

Я цеплялась за телефон как утопающий за соломинку, ведь он вместе с коридором, окном и железными стульями тоже был моей Вселенной. В нем — связь с большим миром за стенами больницы. В нем номера друзей, родственников, врачей, экстрасенсов, полезных людей, приоткрывающих нужные двери. В эти дни я поняла, увидела и до конца осознала то, что в теории и так знает каждый. Если тебе некому звонить, за тебя некому просить и у тебя нет ниточек, ведущих в волшебный клубочек людей хоть что-то да решающих, ты полный ноль, а твоя жизнь, беды и прочие смешные надобности — посторонний звук в отлично работающем муляже двигателя большой государственной машины.

Эти полезные ниточки тянулись из большого мира в маленький больничный мирок. Благодаря им в этом мирке

завязывались узелочки. Они придавали аскетичной белой Вселенной немного цвета, а значит, тоже спасали от безумия и от звенящей пустоты, которая часто окружает человека, внезапно выброшенного на обочину жизни.

В очередной раз вздрогнув от звонка и облегченно вздохнув от того, что телефон по-прежнему со мной, я услышала в трубке знакомый голос:

— Он договаривался об этой встрече накануне. На обеде. В офисе. Возле кофе-автомата, — прерывисто говорил его коллега. — Как же это могло случиться?

Мы не верим... В ту пятницу собирались после работы зайти в кафе всем отделом, пообщаться в неформальной обстановке, знаете... Но потом планы у ребят изменились. Кто-то не смог. И он решил встретиться с институтскими друзьями, на хоккей они собирались.

Он кидал эти рубленные фразы, словно надеясь, что так быстрее выполнит свою нелегкую задачу — поговорит с женой лежащего в коме человека, который еще вчера мог похвастаться отменным здоровьем. Потом шумно перевел дыхание и зачем-то еще раз глухо повторил:

— Мы слышали, как он договаривался...

Помедлил.

— Мы с ним часто говорили — о семье, футболе, много о чем... Таких светлых людей, как он, больше нет. Я до сих пор не верю! Все кажется, что он просто опаздывает на работу, пробки, пока доедешь... Сейчас дверь откроется, и войдет. Что-нибудь уже выяснили? Следователь был? Как все произошло?

— Нет, — призналась я. — Надо искать следователя, которой дело передали, ехать в Главное следственное управление. Никто не приходил и не звонил, а у него, представляешь, и документы все при себе были: права, паспорт. Все в больнице отдали. Врачи «Скорой» написали: сбит неустановленным транспортным средством. Состояние крайне тяжелое.

— Но ведь кто-то же выезжал из ГИБДД происшествие оформлять? Что они говорят, как все случилось?

— Послушай, — отвечала я трубке и сама слышала свой голос словно издалека, как чужой, — нам даже не сообщили, что он в больнице. Сейчас звонят, выясняют, мы подняли всех, кого могли.

Голос в трубке дрожал, но собеседник пытался быть бодрым:

— Мы верим в Медведя, он выкарабкается, он не умрет!

Я все время спрашивала себя: могла ли я предотвратить случившееся?

Если бы мы не уехали на Новый год, если бы я не задержалась и мы вернулись вместе, возможно, стоя у кофе-автомата, он отклонил бы приглашение и не пошел на хоккейный матч.

За месяц до случившегося у меня появилось тревожное чувство, очень смутное, неявное, нечеткое. Как дурной сон под утро, когда просыпаешься с мучительным ощущением страшного и непоправимого, но что же именно произошло там, во сне, вспомнить уже не можешь. Ощущение это было связано с Медведем. Я не придавала ему значения — и теперь чувствовала себя виноватой. Я должна была прислушаться к себе, услышать, поверить.

В первый раз оно возникло перед самым Новым годом. Я фотографировала Медведева, а потом при взгляде на один из снимков у меня защемило сердце. Непривычно осунувшееся лицо, грустная улыбка и главное — взгляд. Словно издалека... На этой фотографии Медведев был не таким, как всегда.

Я не смогла тогда понять, что в его лице не так, но отчетливо помнила промелькнувшую мысль: «Что-то случится». Возникла из ниоткуда, пробежала предупреждением, кольнула в сердце...

Второй раз сердце кольнуло, когда купили ему билет на поезд. Это был единственный билет на нужное число — 9 января 2011 года. Конец новогодних каникул. Не было купе и СВ, только плацкарт, да еще и боковой, да еще и отказной. Никаких вариантов, только сданный кем-то плацкартный билет.

Пришлось покупать его. Медведев ворчал, потому что давно уже не ездил в плацкарте, а я назидательно говорила ему:

— Все следует делать заранее, в том числе и билеты покупать, а я предлагала в Питере за 45 суток брать, не тянуть до последнего, ясно же, что в конце новогодних каникул поедет много народа. Вот теперь лежи в проходе на боковой полке — наука будет.

В тот же день вечером я наводила порядок в своей сумке, выкинула билеты, по которым мы приехали, а вместе с ними все ненужное.

Еще через пару дней мы проходили мимо вокзала. Я подумала, может, еще кто загулявший на праздниках передумает в Петербург возвращаться, и тогда мы поменяем его отказной билет. В следующую секунду в голове

включился механизм, отматывающий события назад: билет, билет, а где он, собственно, билет-то? Тут же поняла, что сдавать нам уже нечего. Я его выкинула в мусорное ведро вместе с прочими ненужными бумажками.

Надо отдать Медведю должное, он меня не сильно ругал и отнесся к утрате философски, только сказал:

— Интересно, что бы ты сделала, если бы я выкинул твой билет? — прекрасно зная, что об этом лучше даже не спрашивать.

Я ругала себя и одновременно удивлялась: со мной такого никогда не случалось, к документам всегда отношусь аккуратно. А тут будто подменили, как направлял кто-то...

Мы пошли к дежурному по вокзалу, написали заявление, оплатили дубликат и получили на руки дважды несчастливый билет. Отказной и выкинутый своими руками.

Полушутя-полусерьезно по пути с вокзала мы обсуждали, что билет-то и впрямь несчастливый, и я просила его:

— Будь осторожнее.

Потом, в белом коридоре, вжимаясь лбом в холодное стекло больничного окна, я много раз беззвучно кричала сама себе:

— Надо было выбросить его еще раз! Ты должна была прислушаться к предупреждению. Ты была обязана изменить планы и возвращаться домой вместе с ним. Зачем ты осталась? Зачем?

Был и еще один знак, совсем уж суеверие. К нему ни он, ни я отнестись серьезно не могли.

За два дня до отъезда по несчастливому отказному выкинутому билету мы гуляли вечером по столице Карелии. Из центра города пошли к небольшой речушке Неглинке, не замерзающей даже зимой. Рядом — старое кладбище и маленькая деревянная Екатерининская церковь.

Проходя мимо речки по едва расчищенному тротуару, Медведь усмехнулся:

— Смотри, чертовы ворота. Да еще перед кладбищем. Вон и тропинка мимо столбов. Не хотят люди под ними ходить.

— Впервые о таких слышу, — не поняла я. — Медведь, ты же кандидат технических наук. Не смейся, что за чертовы ворота?

— В детстве так говорили, чертовы ворота — это когда два столба вместе сходятся, а под ними дорога. Лучше под этими воротами не проходить.

Я посмотрела, и впрямь — до чего только не доведет людей суеверие: следы раздваивались прямо перед

пересекающимися над основной тропинкой столбами линии электропередач. Кто-то топал прямо по расчищенной тропке, а кто-то не ленился обходить эти импровизированные ворота сбоку. Ведь это же надо еще голову поднять...

Первых было много, но и вторых тоже немало: обходная тропка сильно утоптана. Видимо, первопроходцы всерьез озаботились проблематикой чертовых ворот и не поленились полезть в сугроб, образовавшийся после чистки проезжей части и тротуара, чтобы спасти себя и следующих пешеходов от неминуемого проклятия.

— Ерунда какая, — резюмировала я.

Медведь согласился, потому что большей частью всегда соглашался со мной, и мы гуськом прошли под этими перекрещенными столбами. Он первый, я за ним. Суеверие.

Через два дня, когда я провожала его на ночной поезд, подъезжая на такси к привокзальной площади, мы стали свидетелями ДТП. «Газель» МЧС врезалась в легковушку.

— Будь осторожнее! — напоследок попросила я Медведя у дверей вагона. Это дежурная фраза, я всегда говорила ее по утрам, провожая его на работу. В этот раз, учитывая только что увиденное, я произнесла ее чуть более серьезно и надеялась, что он воспримет ее так же.

Медведь прикоснулся губами к моей щеке, и мы уже отстранились друг от друга. Пылкие объятия и поцелуи — удел влюбленных, а не мужа с женой, расстающихся на две недели. Взялся за поручень, чтобы подняться в вагон, я тоже отвернулась. Но тут и ему, и мне пришла в голову мысль, что мы как-то не так попрощались. Не по-настоящему.

Мы развернулись одновременно, он спрыгнул с железной ступеньки на перрон и поцеловал меня.

На следующий день я прочитала в новостях, что в увиденной нами аварии больше всего пострадали четырехмесячный ребенок и его мать. У обоих серьезные черепно-мозговые травмы, ребенок в тяжелом состоянии.

Очевидцы происшествия утверждали, что спасатели ехали на красный свет светофора с включенными мигалками, но без sireны, и на перекрестке не сбавили скорость, поэтому среагировать на внезапно выскочившую «газель» водитель легковушки просто не мог. Мы ехали сзади, на месте ДТП были уже после столкновения: эта служебная машина пронеслась мимо нас на предыдущем перекрестке, тоже на красный свет.

Меня поразило, какой нелепой и жестокой может быть судьба. Пострадавшие люди так же, как и мы, ехали на

вокзал, на вечерний питерский поезд. Заранее, не спеша — до его отхода оставался еще целый час. Пострадавшая женщина — россиянка, вышедшая замуж за датчанина; в новогодние праздники она приехала на родину, чтобы показать малыша родственникам. На следующий день должны были вернуться в Данию. До парковки возле вокзала они не доехали нескольких метров.

Фотография, несчастливый билет, «чертовы ворота» перед кладбищем, увиденное прямо перед отъездом ДТП, по нелепости сравнимое с чередой тех событий, которые спустя всего пару недель привели в больницу Медведя, и тоже с черепно-мозговой травмой.

Он был за стенкой, в палате, но в то же время где-то не совсем рядом, а может быть, и очень-очень далеко. Глубокую мозговую кому третьей степени вполне можно приравнять к отсутствию. Но я все время разговаривала с ним, ни минуты не сомневаясь в том, что он меня слышит.

Мы никогда не были суеверными людьми, и теперь я одна пыталась разобраться: что должна была делать со своими мимолетными предчувствиями, могла ли изменить ход событий?

И что я должна делать, чтобы в моей белой Вселенной произошло чудо, и я смогла закричать коридору, окну и железным стульям, минута за минутой, час за часом, день за днем ждавшим известий вместе со мной:

— Мы победили! Медведь выжил!

Страшнее всего — бессилие. Сложнее всего принять этот факт и согласиться с тем, что ты ничего не можешь сделать.

В обычной цветной жизни из любой ситуации всегда есть выход, ты всегда можешь что-то преодолеть, осилить, очень захотеть и достичь, ну хотя бы попробовать, попытаться.

В больничной Вселенной я была бессильна. И это отсутствие силы и возможности что-то изменить — тоже самой крайней, последней степени.

Все зависело от других — здесь, за стенкой, где пытались спасти жизнь, и где-то там, за гранью понимания, где ее дают и забирают... А ты сидишь и ждешь, и стискиваешь в ладони икону, и прижимаешься к холодному стеклу.

От бессилия нарастал поток звонков в больницу. Он уже вышел из-под моего контроля и теперь был способен скорее навредить, чем помочь. Сначала я искала знакомых в этой больнице, теперь безуспешно пыталась их сдержать. Просьбы не звонить и не отвлекать врачей уже не действовали, механизм взаимопомощи был запущен, и временами мне

казалось, что у половины города есть знакомые в этой больнице.

Тут работали друзья, друзья друзей, соседи по дому, даче и палате пионерского лагеря «Буревестник» второй смены 1983 года, и даже бывшие любовники.

— Срочно поднимайся в отделение к нейрохирургам. Все удивляются, почему родственники к ним не подходят, а только звонят, звонят, звонят, — озабоченно командовали люди, которые сами же и звонили.

Я соглашалась и оставалась на месте, потому что знала, что не могу к ним идти. Не могу, потому что не имею права. Не имею права, потому что не хочу слышать то, что они будут мне говорить. Если я поверю им, они отнимут у меня надежду и веру в Медведя. А этого нельзя было допустить. Верить и бороться надо до конца, даже если ты бессилен в самой крайней, последней степени.

Медведь жив? Жив! Больше мне ничего не надо.

— Ты только не умирай, Медведь!

Врачи выходили в двенадцать утра и шесть вечера.

12:00 и 18:00. Самое страшное время. Это время новостей из безлюдного коридора с ровным светом. Все остальное время — пропасть, и если заглянуть в нее, то увидишь отчаяние в обнимку с надеждой, но лучше не заглядывать. Лучше вообще не думать. Закрывать глаза и сидеть.

В машине Медведя я нашла ежедневник. Может быть, он поможет мне понять случившееся... Вместе с рабочими записями в нем были личные заметки, и он больше напоминал дневник. Такой краткий мужской дневник — о работе, машине, подсчеты, списки игроков на футбольные игры, ох уж мне этот футбол тридцатилетних мужчин... Обо мне? Да, обо мне. Он же не знал, что я буду читать эти записи: «Ходили с Машенькой в кафе, день рождения Машеньки...»

В последние дни мне часто приходилось отвечать на глупые вопросы. Он много пил? А наркотики принимал? У вас вообще все хорошо было в семейной жизни? Ты, конечно, прости за неуместный вопрос, а на стороне у него никого не было? Ты уверена?

Вопросы эти, наверное, сами по себе уместны и не глупы, ведь надо же хоть с чего-то начать, чтобы попытаться объяснить, как человек мог оказаться на оживленной загородной трассе в четыре часа утра. Но только все они не о Медведе.

Ну как мне объяснить не знающим его людям, что он с

детства занимался спортом и следил за здоровьем. Бегал в парке, был капитаном команды, несколько раз в неделю после работы играл в футбол. По утрам сквозь сон я слышала равномерное постукивание — он прыгал со скакалкой! Что мне сказать им... А вы давно прыгали со скакалкой, чтобы не набрать лишних килограммов от сидячей работы? Может быть, вы принимаете наркотики?

Накануне того дня, когда Медведь не вернулся домой, мелкими, убористыми, почти печатными буквами его дневник говорил за него: «Диета. После 21:00 не принимать пищу (только кефир). Не есть сладкого». Он спортсмен-сладкоежка, а его наркотики — свежие ром-бабы и песочные полоски.

Как мне объяснить это следователю ГСУ, которая не была у него ни разу? Наверное, она права: человек в коме не может давать показания. А выживет он или нет, об этом сообщат из реанимации, чтобы можно было дальше заполнять бумаги: «Причинен тяжкий вред здоровью, результатом которого стала — инвалидность? смерть? — потерпевшего».

Мы познакомились, когда оба учились в аспирантуре, только я забросила диссертацию, а он защитился в двадцать пять лет. У него была своя линия в жизни, от которой он не отступал.

Как мне объяснить это сотрудникам РУВД, которые не могут принять заявление о пропавших еще до ДТП телефонах и звонках с них, если написано оно не пострадавшим?

Как объяснить самой себе, что, оказывается, глубокая мозговая кома третьей степени не является исключением из общего правила? Придешь в себя — пиши заявление, не придешь — одной бумажкой в документообороте будет меньше.

Никто, кроме Медведя, не звал меня Машенькой, разве что давным-давно, в детстве. Для него я была Машенькой с самой первой встречи и до последней записи в дневнике.

Когда мы разговаривали по телефону в тот вечер, Медведь был в приподнятом настроении, сказал, что все здорово, он так рад видеть институтских друзей, к тому же неожиданно встретили еще одного однокурсника. Еще полчаса — и выходят. Через полчаса было еще полчаса. Я волновалась, ведь ему добраться дальше всех, в пригород.

Последнее, что он сказал мне:

— Ты на меня сердишься, Машенька?

Это был последний вечер, когда меня называли Машенькой.

Потом перестали работать оба телефона.

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.